

ОБЛОМОВ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов.

Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.

Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением не лица только, а всей души, а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, рук. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!» Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой.

Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому цвету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины.

Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишеною своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга; но редко

тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.

Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу всё шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани.

Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела.

Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу.

Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома, — а он был почти всегда дома, — он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день, когда человек мел кабинет его, чего всякий день не делалось. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы спущены.

Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою материею, красивые ширмы с вышитыми небывальными в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей.

Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы только желание кое-как соблюсти *decorum* неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой ка-

бинет. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало.

Точно тот же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи.

Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами: «Кто сюда натащил и наставил все это?» От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность, а может быть и еще от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара, вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал господствующею в нем запущенностью и небрежностью.

По стенам, около картин, лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью; зеркала, вместо того чтоб отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями для записывания на них, по пыли, каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На диване лежало забытое полотенце; на столе редкое утро не стояла не убранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой да не валялись хлебные крошки.

Если б не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет, — так все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. На этажерках, правда, лежали две-три развернутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями; но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели; видно, что их бросили давно; номер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха.

Илья Ильич проснулся, против обыкновения, очень рано, часов в восемь. Он чем-то сильно озабочен. На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь.

Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни, от своего старосты, письмо неприятного содержания. Известно, о каких неприятностях может писать староста: неурожай, недоимки, уменьшение дохода и т. п. Хотя староста и в прошлом, и в третьем году писал к своему барину точно такие же письма, но и это последнее письмо действовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз.

Легко ли? предстояло думать о средствах к принятию каких-нибудь мер. Впрочем, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своих делах. Он по первому неприятному письму старосты, полученному несколько лет назад, уже стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением.

По этому плану предполагалось ввести разные новые экономические, полицейские и другие меры. Но план был еще далеко не весь обдуман, а неприятные письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его к деятельности и, следовательно, нарушали покой. Обломов сознавал необходимость до окончания плана предпринять что-нибудь решительное.

Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этим делом как следует.

С полчаса он все лежал, мучась этим намерением, но потом рассудил, что успеет еще сделать это и после чаю, а чай можно пить, по обыкновению, в постели, тем более что ничто не мешает думать и лежа.

Так и сделал. После чаю он уже приподнялся с своего ложа и чуть было не встал; поглядывая на туфли, он даже начал спускаться к ним одну ногу с постели, но тотчас же опять подобрал ее.

Пробило половина десятого, Илья Ильич встрепенулся.

— Что ж это я в самом деле? — сказал он вслух с досадой, — надо совесть знать: пора за дело! Дай только волю себе, так и...

— Захар! — закричал он.

В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно ворчанье цепной собаки, потом стук спрыгнувших откуда-то ног. Это Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время, сидя погруженный в дремоту.

В комнату вошел пожилой человек в сером сюртуке, с прорехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с необъятно широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на три бороды.

Захар не старался изменить не только данного ему Богом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел

слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провозжая покойных господ в церковь или в гости; а ливрея в воспоминаниях его была единственною представительницею достоинства дома Обломовых.

Более ничто не напоминало старины барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и, чай, валяются где-нибудь на чердаке; предания о старинном быте и важности фамилии всё гложут или живут только в памяти немногих оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук: в нем да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые хотя он и ворчал, и про себя, и вслух, но которые между тем уважал внутренно, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие.

Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина; без них ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и преданий об этом старинном доме, единственной хроники, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род.

Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, бог знает отчего, все беднел, мельчал и наконец незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами. Только поседевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожа ею, как святынею.

Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве своем много старых слуг с этим старинным, аристократическим украшением.

Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец он кашлянул.

— Что ты? — спросил Илья Ильич.

— Ведь вы звали?

— Звал? Зачем же это я звал — не помню! — отвечал он, потягиваясь. — Поди пока к себе, а я вспомню.

Захар ушел, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме. Прошло с четверть часа.

— Ну, полно лежать! — сказал он, — надо же встать... А впрочем, дай-ка я прочту еще раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану. — Захар!

Опять тот же прыжок и ворчанье сильнее. Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и наконец пошел к дверям.

— Куда же ты? — вдруг спросил Обломов.

— Вы ничего не говорите, так что ж тут стоять-то даром? — захрипел Захар за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил с старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло.

Он стоял вполуборот среди комнаты и глядел все стороной на Обломова.

— А у тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен — так и подожди! Не належался еще там? Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел?

— Какое письмо? Я никакого письма не видал, — сказал Захар.

— Ты же от почтальона принял его: грязное такое!

— Куда ж вы его положили — почем мне знать? — говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе.

— Ты никогда ничего не знаешь. Там, в корзине, посмотри! Или не завалилось ли за диван? Вот спинка-то у дивана до сих пор не починена; что б тебе призвать столяра да починить? Ведь ты же изломал. Ни о чем не подумашь!

— Я не ломал, — отвечал Захар, — она сама изломалась; не век же ей быть: надо когда-нибудь изломаться.

Илья Ильич не счел за нужное доказывать противное.

— Нашел, что ли? — спросил он только.

— Вот какие-то письма.

— Не те.

— Ну так нет больше, — говорил Захар.

— Ну хорошо, поди! — с нетерпением сказал Илья Ильич, — я встану, сам найду.

Захар пошел к себе, но только он уперся было руками о лежанку, чтоб прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик: «Захар, Захар!»

— Ах ты, Господи! — ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. — Что это за мученье? Хоть бы смерть скорее пришла!

— Чего вам? — сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, в знак неблаговоления, до того стороной, что ему приходилось видеть барина вполглаза, а барину вид-

на была только одна необъятная бакенбарда, из которой так и ждешь, что вылетят две-три птицы.

— Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться: не видишь! — строго заметил Илья Ильич.

Захар не обнаружил никакого особенного недовольствия или удивления при этом приказании и упреке барина, находя, вероятно, с своей стороны и то и другое весьма естественным.

— А кто его знает, где платок? — ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит.

— Всё теряете! — заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтоб посмотреть, нет ли там.

— Куда? Здесь ищи! Я с третьего дня там не был. Да скорее же! — говорил Илья Ильич.

— Где платок? Нету платка! — говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. — Да вон он, — вдруг сердито захрипел он, — под вами! Вон конец торчит. Сами лежите на нем, а спрашиваете платка!

И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым.

— Какая у тебя чистота везде: пыли-то, грязи-то, Боже мой! Вон, вон, погляди-ка в углах-то — ничего не делаешь!

— Уж коли я ничего не делаю... — заговорил Захар обиженным голосом, — стараюсь, жизни не жалею! И пыль-то стираю, и мету-то почти каждый день...

Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал.

— Вон, вон, — говорил он, — все подметено, прибрано, словно к свадьбе... Чего еще?

— А это что? — прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. — А это? А это? — Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце, и на забытую на столе тарелку с ломтем хлеба.

— Ну, это, пожалуй, уберу, — сказал Захар снисходительно, взяв тарелку.

— Только это! А пыль по стенам, а паутина?.. — говорил Обломов, указывая на стены.

— Это я к Святой неделе убираю: тогда образа чищу и паутину снимаю...

— А книги, картины обмести?..

— Книги и картины перед Рождеством: тогда с Анисьей все шкапы переберем. А теперь когда станешь убирать? Вы всё дома сидите.

— Я иногда в театр хожу да в гости: вот бы...

— Что за уборка ночью!

Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал: «Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам», а Захар чуть ли не подумал: «Врешь! ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет».

— Понимаешь ли ты, — сказал Илья Ильич, — что от пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стене!

— У меня и блохи есть! — равнодушно отозвался Захар.

— Разве это хорошо? Ведь это гадость! — заметил Обломов.

Захар усмехнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно.

— Чем же я виноват, что клопы на свете есть? — сказал он с наивным удивлением. — Разве я их выдумал?

— Это от нечистоты, — перебил Обломов. — Что ты все врешь!

— И нечистоту не я выдумал.

— У тебя вот там мыши бегают по ночам — я слышу.

— И мышей не я выдумал. Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов, везде много.

— Как же у других не бывает ни моли, ни клопов?

На лице Захара выразилась недоверчивость, или, лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает.

— У меня всего много, — сказал он упрямо, — за всяким клопом не усмотришь, в щелку к нему не влезешь.

А сам, кажется, думал: «Да и что за спанье без клопа?»

— Ты мети, выбирай сор из углов — и не будет ничего, — учил Обломов.

— Уберешь, а завтра опять наберется, — говорил Захар.

— Не наберется, — перебил барин, — не должно.

— Наберется — я знаю, — твердил слуга.

— А наберется, так опять вымети.

— Как это? Всякий день перебирай все углы? — спросил Захар. — Да что ж это за жизнь? Лучше Бог по душу пошли!

— Отчего ж у других чисто? — возразил Обломов. — Посмотри напротив, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна девка...

— А где немцы сору возьмут, — вдруг возразил Захар. — Вы поглядите-ко, как они живут! Вся семья целую неделю кость гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие: всё поджимают под себя ноги, как гусыни... Где им сору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтоб в шкапах лежала по годам куча старого изношенного платья или набрался целый угол корок хлеба за зиму... У них и корка зря не валяется: наделают сухариков да с пивом и выпьют!

Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаредном житье.

— Нечего разговаривать! — возразил Илья Ильич, — ты лучше убирай.

— Иной раз и убрал бы, да вы же сами не даете, — сказал Захар.

— Пошел свое! Все, видишь, я мешаю.

— Конечно, вы; всё дома сидите: как при вас станешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберу.

— Вот еще выдумал что — уйти! Поди-ка ты лучше к себе.

— Да право! — настаивал Захар. — Вот хоть бы сегодня ушли, мы бы с Анисьей и убрали всё. И то не управимся вдвоем-то: надо еще баб нанять, перемыть всё.

— Э! какие затеи — баб! Ступай себе, — говорил Илья Ильич.

Он уж был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, так и не оберешься хлопот.

Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он бы желал, чтоб это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой; а Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали требовать от него сметания пыли, мытья полов и т. п. Он в таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в доме, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас.

Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления. Через несколько минут пробило еще полчаса.

— Что это? — почти с ужасом сказал Илья Ильич. — Одиннадцать часов скоро, а я еще не встал, не умылся до сих пор? Захар, Захар!

— Ах ты, Боже мой! Ну! — послышалось из передней, и потом известный прыжок.

— Умыться готово? — спросил Обломов.

— Готово давно! — отвечал Захар, — чего вы не встаете?

— Что ж ты не скажешь, что готово? Я бы уж и встал давно. Поди же, я сейчас иду вслед за тобою. Мне надо заниматься, я сяду писать.

Захар ушел, но чрез минуту воротился с исписанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги.

— Вот коли будете писать, так уж кстати извольте и счета поверить: надо деньги заплатить.

— Какие счета? Какие деньги? — с неудовольствием спросил Илья Ильич.

— От мясника, от зеленщика, от прачки, от хлебника: все денег просят.

— Только о деньгах и забота! — ворчал Илья Ильич. — А ты что понемногу не подаешь счета, а все вдруг?

— Вы же ведь всё прогоняли меня: завтра да завтра...

— Ну так и теперь разве нельзя до завтра?

— Нет! Уж очень пристают: больше не дадут в долг. Нынче первое число.

— Ах! — с тоской сказал Обломов. — Новая забота! Ну, что стоишь? Положи на стол. Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю, — сказал Илья Ильич. — Так умыться-то готово?

— Готово! — сказал Захар.

— Ну, теперь...

Он начал было, кряхтя, приподниматься на постели, чтоб встать.

— Я забыл вам сказать, — начал Захар, — давеча, как вы еще почивали, управляющий дворника присылал: говорит, что непременно надо съехать... квартира нужна.

— Ну, что ж такое? Если нужна, так, разумеется, съедем. Что ты пристаешь ко мне? Уж ты третий раз говоришь мне об этом.

— Ко мне пристают тоже.

— Скажи, что съедем.

— Они говорят: вы уж с месяц, говорят, обещали, а всё не съезжаете; мы, говорят, полиции дадим знать.

— Пусть дают знать! — сказал решительно Обломов. — Мы и сами переждем, как потеплее будет, недели через три.

— Куда недели через три! Управляющий говорит, что чрез две недели рабочие придут: ломать всё будут... «Съезжайте, говорит, завтра или послезавтра...»

— Э-э-э! слишком проворно! Видишь, еще что! Не сейчас ли прикажете? А ты мне не смей и напоминать о квартире. Я уж тебе запретил раз; а ты опять. Смотри!

— Что ж мне делать-то? — отозвался Захар.

— Что ж делать? — вот он чем отделяется от меня! — отвечал Илья Ильич. — Он меня спрашивает! Мне что за дело? Ты не беспо-

кой меня, а там, как хочешь, так и распорядись, только чтоб не переезжать. Не может постараться для барина!

— Да как же, батюшка, Илья Ильич, я распоряжусь? — начал мягким сипеньем Захар. — Дом-то не мой: как же из чужого дома не переезжать, коли гонят? Кабы мой дом был, так я бы с великим моим удовольствием...

— Нельзя ли их уговорить как-нибудь. «Мы, дескать, живем давно, платим исправно».

— Говорил, — сказал Захар.

— Ну, что ж они?

— Что! Наладили свое: «Переезжайте, говорят, нам нужно квартиру переделывать». Хотят из докторской и из этой одну большую квартиру сделать к свадьбе хозяйского сына.

— Ах ты, Боже мой! — с досадой сказал Обломов. — Ведь есть же этикие ослы, что женятся!

Он повернулся на спину.

— Вы бы написали, сударь, к хозяину, — сказал Захар, — так, может быть, он бы вас не тронул, а велел бы сначала вон ту квартиру ломать.

Захар при этом показал рукой куда-то направо.

— Ну хорошо, как встану, напишу... Ты ступай к себе, а я подумаю. Ничего ты не умеешь сделать, — добавил он, — мне и об этой дряни надо самому хлопотать.

Захар ушел, а Обломов стал думать.

Но он был в затруднении, о чем думать: о письме ли старосты, о переезде ли на новую квартиру, приняться ли сводить счета? Он терялся в приливе житейских забот и все лежал, ворочаясь с боку на бок. По временам только слышались отрывистые восклицания: «Ах, Боже мой! Трогает жизнь, везде достает».

Неизвестно, долго ли бы еще пробыл он в этой нерешительности, но в передней раздался звонок.

— Уж кто-то и пришел! — сказал Обломов, кутаясь в халат. — А я еще не вставал — срам да и только! Кто бы это так рано?

И он, лежа, с любопытством глядел на двери.

II

Вошел молодой человек лет двадцати пяти, блестящий здоровьем, с смеющимися щеками, губами и глазами. Зависть брала смотреть на него.

Он был причесан и одет безукоризненно, ослеплял свежестью лица, белья, перчаток и фрака. По жилету лежала изящная цепочка с множеством мельчайших брелоков. Он вынул тончайший батистовый платок, вдохнул ароматы Востока, потом небрежно провел им по лицу, по глянцевиной шляпе и обмахнул лакированные сапоги.

— А, Волков, здравствуйте! — сказал Илья Ильич.

— Здравствуйте, Обломов, — говорил блистающий господин, подходя к нему.

— Не подходите, не подходите: вы с холода! — сказал тот.

— О баловень, сибарит! — говорил Волков, глядя, куда бы положить шляпу, и, видя везде пыль, не положил никуда; раздвинул обе полы фрака, чтобы сесть, но, посмотрев внимательно на кресло, остался на ногах.

— Вы еще не вставали! Что это на вас за шлафрок? Такие давно бросили носить, — стыдил он Обломова.

— Это не шлафрок, а халат, — сказал Обломов, с любовью кутаясь в широкие полы халата.

— Здоровы ли вы? — спросил Волков.

— Какое здоровье! — зевая, сказал Обломов. — Плохо! приливы замучили. А вы как поживаете?

— Я? Ничего: здорово и весело, — очень весело! — с чувством прибавил молодой человек.

— Откуда вы так рано? — спросил Обломов.

— От портного. Посмотрите, хорош фрак? — говорил он, ворочаясь перед Обломовым.

— Отличный! С большим вкусом шит, — сказал Илья Ильич, — только отчего он такой широкий сзади?

— Это рейт-фрак: для верховой езды.

— А! Вот что! Разве вы ездите верхом?

— Как же! К нынешнему дню и фрак нарочно заказывал. Ведь сегодня первое мая: с Горюновым едем в Екатеринбург. Ах! Вы не знаете? Горюнова Мишу произвели — вот мы сегодня и отличаемся, — в восторге добавил Волков.

— Вот как! — сказал Обломов.

— У него рыжая лошадь, — продолжал Волков, — у них в полку рыжие, а у меня вороная. Вы как будете: пешком или в экипаже?

— Да... никак, — сказал Обломов.

— Первого мая в Екатеринбург не быть! Что вы, Илья Ильич! — с изумлением говорил Волков. — Да там все!

— Ну, как все! Нет, не все! — лениво заметил Обломов.

— Поезжайте, душенька, Илья Ильич! Софья Николаевна с Лидией будут в экипаже только две, напротив в коляске есть скамеечка: вот бы вы с ними...

— Нет, я не усядусь на скамеечке. Да и что стану я там делать?

— Ну так, хотите, Миша другую лошадь вам даст?

— Бог знает что выдумает! — почти про себя сказал Обломов. —

Что вам дались Горюновы?

— Ах! — вспыхнув, произнес Волков, — сказать?

— Говорите!

— Вы никому не скажете — честное слово? — продолжал Волков, садясь к нему на диван.

— Пожалуй.

— Я... влюблен в Лидию, — прошептал он.

— Bravo! Давно ли? Она, кажется, такая миленькая.

— Вот уж три недели! — с глубоким вздохом сказал Волков. —

А Миша в Дашиньку влюблен.

— В какую Дашиньку?

— Откуда вы, Обломов? Не знает Дашеньки! Весь город без ума, как она танцует! Сегодня мы с ним в балете; он бросит букет. Надо его ввести: он робок, еще новичок... Ах! ведь нужно ехать камелий достать...

— Куда еще? Полно вам, приезжайте-ка обедать: мы бы поговорили. У меня два несчастья...

— Не могу: я у князя Тюменева обедаю; там будут все Горюновы и она, она... Лидинька, — прибавил он шепотом. — Что это вы оставили князя? Какой веселый дом! На какую ногу поставлен! А дача! Утонула в цветах! Галерею пристроили, *gothique*. Летом, говорят, будут танцы, живые картины. Вы *будете бывать?*

— Нет, я думаю, не буду.

— Ах, какой дом! Нынешнюю зиму по средам меньше пятидесяти человек не бывало, а иногда набиралось до ста...

— Боже ты мой! Вот скука-то должна быть адская!

— Как это можно? Скука! Да чем больше, тем веселей. Лидия бывала там, я ее не замечал, да вдруг...

Напрасно я забыть ее стараюсь

И страсть хочу рассудком победить... —

запел он и сел, забывшись, на кресло, но вдруг вскочил и стал отирать пыль с платья.

— Какая у вас пыль везде! — сказал он.

— Все Захар! — пожаловался Обломов.

— Ну, мне пора! — сказал Волков. — За камелиями для букета Мише. Au revoir.

— Приезжайте вечером чай пить, из балета: расскажете, как там что было, — приглашал Обломов.

— Не могу, дал слово к Муссинским: их день сегодня. Поедемте и вы. Хотите, я вас представлю?

— Нет, что там делать?

— У Муссинских? Помилуйте, да там полгорода бывает. Как что делать? Это такой дом, где обо всем говорят...

— Вот это-то и скучно, что обо всем, — сказал Обломов.

— Ну, посещайте Мездровых, — перебил Волков, — там уж об одном говорят, об искусствах; только и слышишь: венецианская школа, Бетховен да Бах, Леонардо да Винчи...

— Век об одном и том же — какая скука! Педанты, должно быть! — сказал, зевая, Обломов.

— На вас не угодишь. Да мало ли домов! Теперь у всех дни: у Савиновых по четвергам обедают, у Маклашиных — пятницы, у Вязниковых — воскресенья, у князя Тюменева — среды. У меня все дни заняты! — с сияющими глазами заключил Волков.

— И вам не лень мыкаться изо дня в день?

— Вот, лень! Что за лень? Превесело! — беспечно говорил он. — Утро считаешь, надо быть au courant¹ всего, знать новости. Слава Богу, у меня служба такая, что не нужно бывать в должности. Только два раза в неделю посижу да пообедаю у генерала, а потом поедешь с визитами, где давно не был; ну а там... новая актриса, то на русском, то на французском театре. Вот опера будет, я абонируюсь. А теперь влюблен... Начинается лето; Мише обещали отпуск; поедем к ним в деревню на месяц для разнообразия. Там охота. У них отличные соседи, дают bals champêtres². С Лидией будем в роще гулять, кататься в лодке, рвать цветы... Ах!.. — И он перевернулся от радости. — Однако пора... Прощайте, — говорил он, напрасно стараясь оглядеть себя спереди и сзади в запыленное зеркало.

— Погодите, — удерживал Обломов, — я было хотел поговорить с вами о делах.

— Pardon, некогда, — торопился Волков, — в другой раз! А не хотите ли со мной есть устриц? Тогда и расскажете. Поедемте, Миша угощает.

¹ В курсе (*фр.*).

² Сельские балы (*фр.*).

— Нет, Бог с вами! — говорил Обломов.

— Прощайте же.

Он пошел и вернулся.

— Видели это? — спросил он, показывая руку, как вылитую в перчатке.

— Что это такое? — спросил Обломов в недоумении.

— А новые lacets!¹ Видите, как отлично стягивает: не мучишься над пуговкой два часа; потянул снурочек — и готово. Это только что из Парижа. Хотите, привезу вам на пробу пару?

— Хорошо, привезите! — говорил Обломов.

— А посмотрите это: не правда ли, очень мило? — говорил он, отыскав в куче брелоков один — визитная карточка с загнутым углом.

— Не разберу, что написано.

— Pг. — prince, M. — Michel, — говорил Волков, — а фамилия Тюменев не уписалась; это он мне в Пасху подарил вместо яичка. Но прощайте, au revoir. Мне еще в десять мест. Боже мой, что это за веселье на свете!

И он исчез.

«В десять мест в один день — несчастный! — думал Обломов. — И это жизнь! — Он сильно пожал плечами. — Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается? Конечно, недурно заглянуть и в театр, и влюбиться в какую-нибудь Лидию... она миленькая! В деревне с ней цветы рвать, кататься — хорошо; да в десять мест в один день — несчастный!» — заключил он, перевертываясь на спину и радуясь, что нет у него таких пустых желаний и мыслей, что он не мыкается, а лежит вот тут, сохраняя свое человеческое достоинство и свой покой.

Новый звонок прервал его размышления.

Вошел новый гость.

Это был господин в темно-зеленом фраке с гербовыми пуговицами, гладко выбритый, с темными, ровно окаймлявшими его лицо бакенбардами, с утружденным, но покойно-сознательным выражением в глазах, с сильно потертым лицом, с задумчивой улыбкой.

— Здравствуй, Судьбинский! — весело поздоровался Обломов. — Насилу заглянул к старому сослуживцу! Не подходи, не подходи! Ты с холоду.

— Здравствуй, Илья Ильич. Давно собирался к тебе, — говорил гость, — да ведь ты знаешь, какая у нас дьявольская служба! Вон,

¹ Шнурки (фр.).

посмотри, целый чемодан везу к докладу; и теперь, если там спросят что-нибудь, велел курьеру скакать сюда. Ни минуты нельзя располагать собой.

— Ты еще на службу? Что так поздно? — спросил Обломов. — Бывало, ты с десяти часов...

— Бывало — да; а теперь другое дело: в двенадцать часов *езжу*. — Он сделал на последнем слове ударение.

— А! догадываюсь! — сказал Обломов. — Начальник отделения! Давно ли?

Судьбинский значительно кивнул головой.

— К Святой, — сказал он. — Но сколько дела — ужас! С восьми до двенадцати часов дома, с двенадцати до пяти в канцелярии, да вечером занимаюсь. От людей отвык совсем!

— Гм! Начальник отделения — вот как! — сказал Обломов. — Поздравляю! Каков? А вместе канцелярскими чиновниками служили. Я думаю, на будущий год в статские махнешь.

— Куда! Бог с тобой! Еще нынешний год корону надо получить; думал за *отличие* представить, а теперь новую должность занял: нельзя два года сряду...

— Приходи обедать, выпьем за повышение! — сказал Обломов.

— Нет, сегодня у вице-директора обедаю. К четвергу надо приготовить доклад — адская работа! На представления из губерний положиться нельзя. Надо проверить самому списки. Фома Фомич такой мнительный: все хочет сам. Вот сегодня вместе после обеда и заедем.

— Ужели и после обеда? — спросил Обломов недоверчиво.

— А как ты думал? Еще хорошо, если пораньше отделаюсь да успею хоть в Екатерингоф прокатиться... Да, я заехал спросить: не поедешь ли ты на гулянья? Я бы заехал...

— Нездоровится что-то, не могу! — сморщившись, сказал Обломов. — Да и дела много... нет, не могу!

— Жаль! — сказал Судьбинский, — а день хорош. Только сегодня и надеюсь вздохнуть.

— Ну, что нового у вас? — спросил Обломов.

— Да много кое-чего: в письмах отменили писать «покорнейший слуга», пишут «примите уверение»; формулярных списков по два экземпляра не велено представлять. У нас прибавляют три стола и двух чиновников особых поручений. Нашу комиссию закрыли... Много!

— Ну а что наши бывшие товарищи?

— Ничего пока; Свинкин дело потерял!

— В самом деле? Что ж директор? — спросил Обломов дрожащим голосом. Ему, по старой памяти, страшно стало.

— Велел задержать награду, пока не отыщется. Дело важное: «о взысканиях». Директор думает, — почти шепотом прибавил Судьбинский, — что он потерял его... нарочно.

— Не может быть! — сказал Обломов.

— Нет, нет! Это напрасно, — с важностью и покровительством подтвердил Судьбинский. — Свинкин ветреная голова. Иногда черт знает какие тебе итоги выведет, перепутает все справки. Я измучился с ним; а только нет, он не замечен ни в чем таком... Он не сделает, нет, нет! Завалюсь дело где-нибудь; после отыщется.

— Так вот как: все в трудах! — говорил Обломов, — работаешь.

— Ужас, ужас! Ну, конечно, с таким человеком, как Фома Фомич, приятно служить: без наград не оставляет; кто и ничего не делает, и тех не забудет. Как вышел срок за отличие, так и представляет; кому не вышел срок к чину, к кресту, — деньги выхлопочет...

— Ты сколько получаешь?

— Да что: тысяча двести рублей жалованья, особо столовых семьсот пятьдесят, квартирных шестьсот, пособия девятьсот, на разъезды пятьсот да награды рублей до тысячи.

— Фу! черт возьми! — сказал, вскочив с постели, Обломов. — Голос, что ли, у тебя хорош? Точно итальянский певец!

— Что еще это! Вон Пересветов прибавочные получает, а дела-то меньше моего делает и не смыслит ничего. Ну, конечно, он не имеет такой репутации. Меня очень ценят, — скромно прибавил он, потупя глаза, — министр недавно выразился про меня, что я «украшение министерства».

— Молодец! — сказал Обломов. — Вот только работать с восьми часов до двенадцати, с двенадцати до пяти да дома еще — ой-ой!

Он покачал головой.

— А что ж бы я стал делать, если б не служил? — спросил Судьбинский.

— Мало ли что! Читал бы, писал... — сказал Обломов.

— Я и теперь только и делаю, что читаю да пишу.

— Да это не то; ты бы печатал...

— Не всем же быть писателями. Вот и ты ведь не пишешь, — возразил Судьбинский.

— Зато у меня имение на руках, — со вздохом сказал Обломов. — Я соображаю новый план; разные улучшения ввожу. Мучаюсь, мучаюсь... А ты ведь чужое делаешь, не свое.

— Что ж делать! Надо работать, коли деньги берешь. Летом отдохну: Фома Фомич обещает выдумать командировку нарочно для меня... вот тут получу прогоны на пять лошадей, суточных рубля по три в сутки, а потом награду...

— Эх ломят! — с завистью говорил Обломов; потом вздохнул и задумался.

— Деньги нужны: осенью женюсь, — прибавил Судьбинский.

— Что ты! В самом деле? На ком? — с участием сказал Обломов.

— Не шутя, на Мурашиной. Помнишь, подле меня на даче жили? Ты пил чай у меня и, кажется, видел ее.

— Нет, не помню! Хорошенькая? — спросил Обломов.

— Да, мила. Поедем, если хочешь, к ним обедать...

Обломов замялся.

— Да... хорошо, только...

— На той неделе, — сказал Судьбинский.

— Да, да, на той неделе, — обрадовался Обломов, — у меня еще платье не готово. Что ж, хорошая партия?

— Да, отец действительный статский советник; десять тысяч дает, квартира казенная. Он нам целую половину отвел, двенадцать комнат; мебель казенная, отопление, освещение тоже: можно жить...

— Да, можно! Еще бы! Каков Судьбинский! — прибавил, не без зависти, Обломов.

— На свадьбу, Илья Ильич, шафером приглашаю: смотри...

— Как же, непременно! — сказал Обломов. — Ну а что Кузнецов, Васильев, Махов?

— Кузнецов женат давно, Махов на мое место поступил, а Васильева перевели в Польшу. Ивану Петровичу дали Владимира, Олешкин — его превосходительство.

— Он добрый малый! — сказал Обломов.

— Добрый, добрый; он стóбит.

— Очень добрый, характер мягкий, ровный, — говорил Обломов.

— Такой обязательный, — прибавил Судьбинский, — и нет этого, знаешь, чтоб выслужиться, подгадить, подставить ногу, опередить... все делает, что может.

— Прекрасный человек! Бывало, напутаешь в бумаге, не доглядишь, не то мнение или законы подведешь в записке, ничего: ве-

лит только другому переделать. Отличный человек! — заключил Обломов.

— А вот наш Семен Семеныч так неисправим, — сказал Судьбинский, — только мастер пыль в глаза пускать. Недавно что он сделал: из губерний поступило представление о возведении при зданиях, принадлежащих нашему ведомству, собачьих конур для сбережения казенного имущества от расхищения; наш архитектор, человек дельный, знающий и честный, составил очень умеренную смету; вдруг показалась ему велика, и давай наводит справки, что может стоить постройка собачьей конуры? Нашел где-то тридцатью копейками меньше — сейчас докладную записку...

Раздался еще звонок.

— Прощай, — сказал чиновник, — я заболтался, что-нибудь понадобится там...

— Посиди еще, — удерживал Обломов. — Кстати, я посоветуюсь с тобой: у меня два несчастья...

— Нет, нет, я лучше опять заеду на днях, — сказал он, уходя.

«Увяз, любезный друг, по уши увяз, — думал Обломов, проводя его глазами. — И слеп, и глух, и нем для всего остального в мире. А выйдет в люди, будет со временем ворочать делами и чинов нахватает... У нас это называется тоже карьерой! А как мало тут человека-то нужно: ума его, воли, чувства — зачем это? Роскошь! И проживет свой век, и не пошевелится в нем многое, многое... А между тем работает с двенадцати до пяти в канцелярии, с восьми до двенадцати дома — несчастный!»

Он испытал чувство мирной радости, что он с девяти до трех, с восьми до девяти может пробывать у себя на диване, и гордился, что не надо идти с докладом, писать бумаг, что есть простор его чувствам, воображению.

Обломов философствовал и не заметил, что у постели его стоял очень худощавый, черненький господин, заросший весь бакенбардами, усами и эспаньолкой. Он был одет с умышленной небрежностью.

— Здравствуйте, Илья Ильич.

— Здравствуйте, Пенкин; не подходите, не подходите: вы с холода! — говорил Обломов.

— Ах вы чудак! — сказал тот. — Все такой же неисправимый, беззаботный ленивец!

— Да, беззаботный! — сказал Обломов. — Вот я вам сейчас покажу письмо от старосты: ломаешь, ломаешь голову, а вы говорите: беззаботный! Откуда вы?

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛОМОВ

Часть первая	7
Часть вторая	140
Часть третья	265
Часть четвертая	344

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Часть первая	455
Часть вторая	585
Эпилог	718